

С Виктором Ефимовичем Ардовым (1900—1976) я часто встречался в конце 60-х и начале 70-х годов на заседаниях Московского клуба эссеистов, членами которого мы оба были. Проходили эти заседания тогда, старом еще Доме художника на Кузнецком мосту. И Виктор Ефимович, видя на моих эссеистах изображение Сергея Есенина, вспоминал о своих встречах с поэтом. Рассказывал он и о той версии гибели поэта, которую он слышал от Сергея Клыкова.

Позже у меня появился машинописный экземпляр воспоминаний В.Е. Ардова, который, к сожалению, не попал в его мемуарную книгу «Этюды к портретам», увидевшую свет в 1983 году. А его «Два слова о Есенине» представляют несомненный интерес для поклонников творчества великого поэта России.

Ю.ЮШКИН

Я бы не имел права браться за перо, чтобы писать о Сергееве Есенине, ибо мое знакомство с ним было классически «шапочным», и притом это было знакомство одаренного поэта с юношеской, едва начинавшей свой путь журналиста и литератора, — но мне кажется, что в воспоминаниях и статьях о Сергееве Есенине начинают пропадать какие-то черточки, очень важные для его характера; утрачивается даже перспектива — многое из того, что существовало вместе с поэтом, что составляло часть его самого, приобретает смысл и трактовку не совсем верные.

И вот ради того, чтобы отметить несколько черточек в облике поэта, я пишу эти строки.

Примерно с двадцатого года помню на улицах Москвы, в пресловутом «Кафе поэтов» (а познее — в «Стойле Пегаса»), куда я проникал в качестве литературного «богемщика», как сказали бы теперь (сам я этого ничего не писал), на диспутах в театрах и Политехническом музее, непроторимую фигуру Есенина. Фотографии, в общем, верно передают лицо поэта. Разумеется, фото не может воспроизвести удивительный цвет его волос, эту вечно движущуюся (словно живущую своей отдельной жизнью) розово-золотую прядь волос над лбом. Не могут снимки отразить и живость мимики, переменившую игру выражений на этом некрасивом и очень деревенском лице.

Трагический конец Есенина в соединении с лиричностью его стихов как-то приучили широкие массы читателей видеть в нем фигуру чуть ли не от мира сего... А в действительности основным тоном в облике Есенина была этакая мужицкая хитрника. Об этом писали уже. Но писания эти ныне оттерты потоком судовых критических отзывов либо — стараниями пресса поэта того же по-мемуаристу сего дня...

Последние два года своей жизни Есенин воистину проводил в угларе ежедневного пьянства. Это было самобийство, растянутое на месяцы и годы и завершившееся петлею в гостинице «Англерет».

Но в двадцатом году не хмель играл главную роль в поведении поэта. И было оно шумным по другой причине.

Для того, чтобы современному читателю объяснить источник этого «шумства», надо сказать кое-что о традиции поэтической нескромности... Да, да: именно о традиции.

Эта традиция имеет свою историю и не только у нас, но и в некоторых других странах. Насколько мне известно, никто никогда не попытался осмыслить, если можно так выразиться, этические и эстетические нормы поведения поэтов в тот или другой период истории. Между тем, без такого анализа невозможno до конца понять многое в поведении не только Есенина, и других литераторов.

Итак, классической традицией в поэзии прошлого века была так называемая поэтическая скромность*. Полагалось добрыми нравами литературы, если поэт несколько даже уничижил себя перед своей аудиторией. Это не мешало существованию темы — тоже традиционной — об извненном разрыве между поэтом и «чернью», «филистами».

И филистами, и с чернью также надо были вести скромно и не выхваливать своего таланта, своих произведений...

Уже символисты нарушили эти традиции. Правда, это поколение больше запатрировало публику содержанием стихов, нежели поведением автора. Но уже филисты повсеместно — и в Италии, и во Франции, и у нас взяли тон открытого презрения к аудитории. Тут не место долго анализировать причины такого факта. Отметим только, что принцип контраста с предыдущими поколениями сыграл большую роль и в знаменитой «желтой кофте», и в гиммированых лицах, и в ложках в петлицах и во всем прочем.

Литературная группа имажинистов, к которой прымкала Есенин (а надо сказать, что сам-то он всю жизнь искренне верил, что он — сочинен этой группой), возникла под влиянием филистов. Логически рассуждая, она должна была пойти еще дальше филистов в своих обычаях и повадках.

* Конечно, и тут бывали исключения — например, в поведении французских романтиков.



Виктор Ардов

ДВА СЛОВА О ЕСЕНИНЕ

Летом. Россия. — 1994. — 4 квеб. — с. 14—15.

Летом. Россия. — 1994. — 4 квеб. — с. 14—15.

ЕСЕНИНСКИЕ

проверку документов. Задержали человека шесть ввиду отсутствия документов и по другим поводам. Я лично вернулся домой в половине третьего утра. Но Есенин никак не ответил за свои слова...

Этот эпизод характерен для того озорства, каким отличались имажинисты. Но рядом с этой холодной расчетливой грубостью я постоянно наблюдал у Есенина иронию по отношению к самому себе и к своему поведению.

Сколько бы раз я ни встречался глазами с Есениным (а за годы 1920—25 я видел его несколько десятков раз; иногда просто здоровался с ним, а иногда и разговаривал — правда, недолго и не на очень значительные темы), я всегда легко читал в его глазах рядом с умешкой еще и некоторую долю именно смущения передо мною — заметки, очень случайных и совсем неавторитетных для него человеком — за шумливость и саморекламность его поведения.

На этом я настаиваю решительно. Я до сих пор могу представить себе смущенную улыбку и смущенно-иронический взгляд поэта, ненадолго обращенный на меня. Чем это объяснить?

По-моему, дело тут в том, что Есенин «шумел» (кстати, он сам очень любил именно это слово; свои скандалы, выступления и прочее он так и определял; «надо пошуметь», «вчера пошумели» и т.д.) расчетливо и систематически, но было это для него не слишком органичным. Известно, что он полагал, будто

ЧТЕНИЯ

С. Есенин.
Дружеский шарж В. Ардова

другое в тот вечер он не говорил с такою убежденностью...

А если говорить обо всем его облике, то Есенин с его явной одаренностью, словно бы сочавшейся из всего существа, с его жестокостью в озорстве и даже просто — в быту, производил такое впечатление: вот — деревенский гармонист, ерник и веселчик, забавляющийся стругом и беспощадно, что, пожалуй, другому ни за что не простили бы этакое хулиганство. А гармонисту сходит с рук и будет сходить: уж больно хорошо он умеет орудовать на ста кнопках своего баяна.

Как заиграет, так все сразу простят обиженных им люди; и девки, отвергнутые им, оправленные безжалостно при всем народе, даже бытые им, не имеют силы отойти от лавочки, где расположился кучерявый их обидчик со своим словно ожившим под его пальцами инструментом. И невольные улыбки исортят вокруг себя немыслимыми тряпиями рассыпавшейся сквозь тяжелую одышку межх потертый баян. И слезы проступают у слушателей, когда гармонист взгрустнется вдруг и покажет он свою грусть выражать тут же — сейчас — после веселых переборов...

Да, именно таков был Есенин в самой своей судьи. И даже странно было наблюдать всю его деревенскую повадку в самой рафинированной среде столичной интеллигентии.

А ведь именно здесь жил и действовал, очаровывал и отговаривал от себя этот полномочный представитель рязанского села...

Еще одна живая картина. В поэтическом кафе «Стойло Пегаса» Есенин и Мариненго были хозяевами. Это было уже во время напа. Очевидно, друзьям заключалось отдельиться от всех иномыслий литераторов и самим отвечать за порядок и программы своего «заведения». Ну, вот и сняли они бывшее кафе «Бом» на углу Малого Гнездниковского переулка и улицы Горького (тогда еще — Тверской); ныне это дом снесен и улица сильно отодвинута. В кафе был буфет с горячими блюдами и напитками, сданный в аренду друзьям. Было что-то вроде оркестра. Проводились и поэтические выступления имажинистов.

Я посещал иногда это «Стойло». И вот, помню, как-то я в компании друзей зашел по поводу очередного номера музыкальной или литературной программы.

Возле нашего столика очутился Есенин. Он дружелюбно сказал мне (передав слово):

— Ну, вот... свой тип, и кричите. А с нас милиция требует...

(Слово «тип» тогда было модным и не являлось обидным.)

Я засмеялся и замолчал. Засмеялся и Есенин.

А на сей раз передо мной за кулисами Политехнического музея стоял человек, одетый с заграничной рожкой.

И вот тогда — в Политехническом музее — я увидел такое смущение на лице Есенина, что даже растергался. Было рядом с этим смущением и наивное, деревенское, сказал бы я, хвастовство простого парня, который в родную деревню из города приехал в неслыханном для деревни костюме. Но все забывала эта улыбка...

На Есенина накинулись администрации, друзья, поклонники и поклонницы. Вместе с друзьями я скоро ушел в зал и услышал выступление поэта. От выступления осталась у меня в памяти характеристика. Очевидно, имея в виду Маяковского, Есенин сказал:

— Вот у нас есть любители хвалить машины и большие города. Ну, побывал я в этих городах, насмотрелся на машины...

Там жить нельзя! Если бы эти любители машин туда отвезли и заставили жить, они бы сами удалились обратно к нам в Рязанскую губернию!..

Так и слышу я эти слова. И видно, очень важно было для поэта сказать слово осуждения урбанистическим настроениям того времени. Пожалуй,ничто

был добрый, смешливый и, когда он ушел с Михаиловской, мы все единодушно восторгались им именно с этой стороны. А в 23-м году он уже чаще бывал недобрый и нетрезвым.

Помнится, я нарисовал в тот вечер профиль Есенина. И словно бы получилось похоже. Меня упросил отдать ему рисунок один мой приятель — журналист, собиратель рисунков и фотографов. Он клялся, что у него этот рисунок, под которым сам Есенин подписался в знак признания ходства, будет сохранен. Но уже в 30-х годах приятель мой признался, что портрет Есенина им утешен.

Надо, несомненно, сказать еще и о том, как Есенин читал свои стихи. Хотя это несколько раз описано, думается, есть смысл и мне изложить свое впечатление.

Стародавний спор между поэтами и чтецами (на стороне которых — широкая публика): надо ли подчinarить содержание стихов их ритму или на первое место выдвигать интонации бытовые, патетические и прочие?... — с моей точки зрения — спор бессмыслиц. Подлинный поэт никогда не станет читать, как артист-исполнитель.

Для автора его стихи нечто органическое слитое с ним, такое естественное и неизменное, неповторимое выражение возникших однажды у поэта ритмических напевов (сплошь и рядом появляющихся раньше, нежели слова стихотворения), что никогда автор не станет придавать первенствующее значение разымающим интонациям. По свидетельству современников, Пушкин и Лермонтов скандировали свои стихи, а не пытались дополнить интонациями их сюжеты.

Если кто-нибудь помнит, как музикант рисует настоящий скрипач, пианист, композитор, то несомненно он отметит очень важное обстоятельство: настоящий музыкант испытывает от звуков, им извлекаемых, гораздо больше непосредственного наслаждения, нежели самому чистому его слушателю. Мне однажды приходилось наблюдать это чувственное слияние с музыкой у концертанта.

Что подобное происходит и с поэтом, особенно — читающим им сочиненные стихи. Иногда это совпадает с умением заразить аудиторию, то есть — с умением подать свои стихи так, что они делаются нужными и приятными для слушателей: таков, например, Пастернак. Его чтение собственных сочинений безмерно обогащает и волнует аудиторию беззубично. Другие поэты остаются один со своим волнением и ощущением стихов: публика не принимает их манер и не разделяет мыслей и эмоций вещи. Бывает у поэтов и нетрадиционное чтение, которое не мешает, но и не помогает аудитории...

Разумеется, такой эмоциональный и органический в своем творчестве поэт, как Есенин, читал для себя, а не для публики. Но воздействие его чтения на слушателей было огромное, несомненно на то, что Есенин скандировал очень напряженно, бытовых и декламационных интонаций не признавал.

Когда Сергей Есенин окончательно входил в стихию своей поэзии (а это происходило почти сразу после начала чтения, ибо возвратимость и темперамент его были очень велики), перед наими появлялся как бы простой русский мужик, одержимый потоком чувств и мыслей необыкновенно конкретных. Что-то было в этом от хлыстовских рдений: такая же гутту игра сила, независимая от человека, юю охваченного; такая же бурный четкий возникший ритм: так же глубоко национальны были интонации напева (а не артистических украшений или игры в бытовое правдоподобие). Крестьянская суть поэта представляла перед слушателями удивительно цельной. Отлетали все бытовые и озорные повадки Есенина в жизни. Ходячая погоня за словом и не существовала никогда для этого молодого поэзия.

Я же, поселившись в доме писателей на улице Фурманова, оказался соседом Клычкова. Отсюда и возникли несколько встреч с этим человеком.

Так вот однажды Клычков по собственной инициативе со слезами на глазах рассказал мне свою версию гибели Есенина. Он говорил так:

— Сережа любил привлекать к себе внимание. Если он месяцами два чего-нибудь не научдается, то непременно говорит: пора, пора, друг, нас уже забывают... надо как-нибудь «пушметь»... И я вполне уверен, что самоубийство Есенини было задумано тоже, как прием для создания очередного шума вокруг имени поэта. Он не хотел повеситься на самом деле! Голову отдаю: Есенин рассчитывал на то, что дружок его Вольф Эрлих (которому посвящены знаменитые строки «До свиданья, мой друг, до свиданья...») вынет его из петли. Потому он так поздно и повесился. Он ждал, когда услышит шаги Эрлиха в коридоре гостиницы; ту и сунул голову в петлю... Тогда он просчитался: в том дальнем отрезке коридора, где был номер Есенина и Эрлиха, ночью возвращалась женщина в соседний номер. А Есенин считал, что это может идти только Эрлих, и погиб.

Клычков, повторяю, плакал, говоря это:

— Я тут же по свежим следам обследовал сам это дело. Я нашел тогда человека, который вернулся в смежный с Есенинским номером в три часа ночи... А Сергей Есенин не мог убить себя, не мог!

Мне трудно обсуждать эту версию: я был далек от Есенина в те страшные для него дни. Но думаю, надо привести здесь слова Клычкова, которого несомненно, теперь уже нет в живых.